

Почему Пушкин плакал

Владимир КОЗАРОВЕЦКИЙ,
для «Новых Известий»

Советская пушкинистика долгое время (особенно после столетия со дня гибели Пушкина в 1937 году) создавала и охраняла образ благонамеренного, законопослушного поэта, которому в лучшем случае разрешалось легкомыслие — ведь любой иной образ мог оказаться дурным, заразительным примером, опасным для советской идеологии. Именно поэтому всячески затушевывалось, что Пушкин жил и писал под пристальным приглядом трехглазой цензуры, а потому был просто вынужден постоянно мистифицировать, шифровать и даже в письмах говорить иносказаниями и намеками, менять у стихотворений даты, разбрасывать шифрованные строки, публиковать свои стихи под чужими именами. Приводя облик поэта к некоей средне-обывательской норме, советские дежурные пушкинисты (выражение А.Лациса) оберегали от «посагательств» и неприкасаемый, образцовый портрет Пушкина-семьянина и моралиста, которому не положено иметь других отношений с женщинами, кроме высокой и чистой любви (хотя известно, что свою жену Пушкин назвал «сто тринадцатой любовью»), нежелательно иметь внебрачных детей («У меня детей нет, а всё выблядки», — говорил он Б.Федорову задолго до брака), не рекомендуется играть в карты («Для меня лучше умереть, чем не играть», — признавался он заезжему английскому путешественнику).

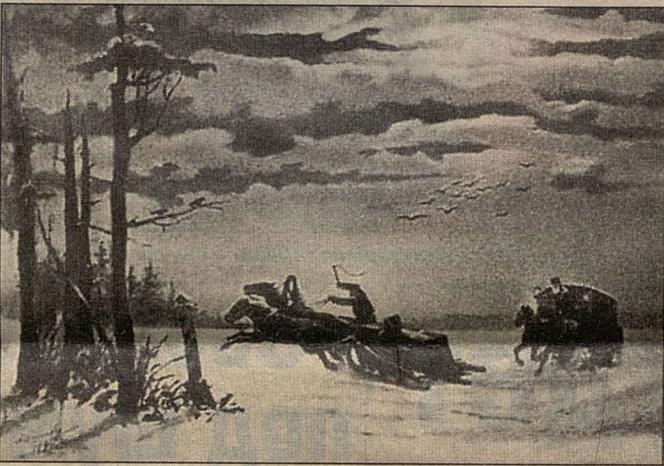
Казалось бы, какое это имеет отношение к Пушкину-поэту и стоит ли все это ворошить? Оказывается, имеет. Оказывается, стоит. У Пушкина оказывается важным все, поскольку он и жизнь свою выстраивал как художественное произведение, лепил ее сознательно и продуманно, а все его поступки и фразы, как правило, странным образом спроецированы в будущее и чрезвычайно интересны именно с нашей, сегодняшней точки зрения. Например, Пушкин расплачивался по своим карточным долгам, публикуя «Конька-Горбунка» под «псевдонимом» и получая за сказку утратный от жены гонорар «черным налом» — то есть фактически занимался «обналичкой» (см. нашу публикацию «Сказка — ложь, да в ней намек...» в «Новых Известиях» от 1 сентября прошлого года). Поскольку в карты Пушкин играл постоянно и долги только росли, такая «обналичка» вынужденно должна была стать системой, и нам еще предстоит разыскать не одно пушкинское произведение, скрытое под чужой фамилией.

Разгадкой пушкинских мистификаций, шифровок и розыгрышей занималось не одно поколение пушкинистов; самые выдающиеся открытия в этом направлении пушкиноведения сделаны в последнее десятилетие Александром Лацисом и Альфредом Барковым — и именно они сегодня упорно замалчиваются официальной пушкинистикой. Прорывая эту блокаду, сегодня мне хотелось бы посмертно отметить вклад в пушкинистику недавно умершего пушкиноведа Александра Лациса изложением одного из его самых сенсационных исследований, подтверждающего мысль о том, что Пушкин, мистифицируя, выстраивал свою жизнь — и наоборот, и делал это до последнего вздоха, до самой смерти.

Эта болезнь впервые была описана в Англии в 1817 году. Лацис не



Ф. Бруни. Пушкин в гробу. Литография. 1837 г.



А. Наумов. Траурный возок везет гроб с телом Пушкина в обитель (в Псковскую область). 1894 г.

нашел подтверждения тому, что Пушкин прочитал ее описание в переводе на русский или французский, но в Одессе поэт общался с английским врачом Вильямом Хатчинсоном, домашним доктором семьи Воронцовых, вероятно, знавшим ее симптомы, и, скорее всего, именно он предсказал Пушкину течение болезни. Она мучительна, длительно и до сих пор неизлечима.

Задолго до написания своей последней, предсмертной статьи «Почему Пушкин плакал?», опубликованной в последнем выпуске пушкинской газеты «Автограф» (его тираж, к сожалению, всего 1000 экземпляров), Лацис для одного из советских спортивных журналов написал статью о пушкинских занятиях физическими упражнениями. Однако только к концу жизни Лацис понял, что Пушкину с помощью «лечебной физкультуры» удалось надолго отсрочить неотвратимую победу болезни, одно из первых проявлений которой описано поэтом в раннем стихотворении «Сон» (эти неожиданные обмороки преследовали Пушкина всю жизнь). Лацис убедительно показал, что причиной поведения Пушкина в последний год жизни (в течение которого он 6 раз вызывал разных людей на дуэль — все отказались с ним драться), истинной причиной смертельных условий дуэли с Дантесом (о которой современники говорили, что «причины к дуэли порядочной не было») стала осознававшаяся им необходимость ухода из жизни.

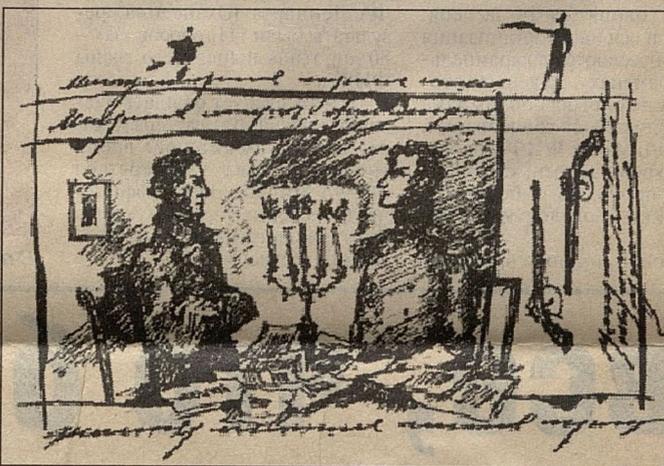
Видимо, вместо слова «мазм», во времена Пушкина употребившегося в гораздо более мягком смысле «истощение жизненных сил, одряхление» и называв-

шегося «присинильным психозом», при прогнозировании исхода болезни было использовано «безумие» или близкое к этому слову выражение. Угроза сумасшествия должна была привести Пушкина в ужас. Стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума...» — не результат посещения сошедшего с ума Батюшкова, как принято пушкинстикой: оно написано через несколько лет после того посещения лечебницы. Это плод размышления над собственной болезнью; судя по всему, ее симптомы к тому времени уже дали знать, что этот жуткий рубеж неостановимо приближается. Тем не менее простое сопоставление дат посещения больного Батюшкова (3 апреля 1830 года) и письма к будущей теще (5 апреля 1830 года) свидетельствует о том, что мысль о неизбежной ранней смерти, навеянная этим посещением и собственной болезнью, навести Пушкина уже тогда и что это письмо надлежит понимать как предвидение: «Видит Бог, что я готов умереть за нее (за Наталью Николаевну. — В.К.), но помереть лишь ради того, чтоб вдове блистательной и свободной позволить на другой же день избрать некоего нового супруга — подлая мысль влечет в суший ад».

Значение Дантеса в истории дуэли и смерти Пушкина преувеличено многими поколениями пушкинистов. В конце 1836 года Пушкин публикует в «Современнике» памфлет, где проводит параллель: Вольтер — Дюлис следовало читать Пушкин — Дантес. Пушкин ставится на сторону Вольтера, посчитавшего, что ниже его достоинства драться с Дюлисом, — и тем самым показывает свое истинное отношение и к Дантесу, и к последо-



Неизвестный художник. Дантес-Геккерен. 1830-е г.?



Тема дуэли в рисунке Пушкина.

вавшей потом дуэли. Дантес был пешкой не столько в игре травивших Пушкина, сколько в смертельной игре самого Пушкина.

Чем же в таком случае объяснить свидетельства тех, кто описал, как выглядел Пушкин в последние месяцы жизни: что вид его был страшен, а при упоминании имени Дантеса его лицо сводило сильные судороги? Они не понимали, что выдают за причину следствия: болезнь зашла так далеко, что один из ее самых характерных признаков (судороги) усилился и стал бросаться в глаза — хотя он был замечен у Пушкина и раньше. Принято считать, что Пушкин грыз ногти, но это не так: он просто прикрывал рукой нервный тик в углу рта, который появлялся у него в минуты эмоционального возбуждения. Немудрено, что симптом так ярко проявлялся при виде человека, которого он — при пушкинском жизнелюбии — намерен был сделать собственным палачом.

Кроме неожиданных обмороков и судорог был еще один грозный симптом, который довершал картину заболевания: микрография. В медицинских справочниках он описывается так: сначала буквы могут быть обыкновенного размера, но по мере письма они становятся все меньше и в конце страницы могут быть меньше в несколько раз. В последний год жизни Пушкина микрография развилась настолько, что буквы в последних строчках на листе были чуть ли не в 10 раз меньше, чем в начале.

Лацис не называет болезнь — не назову ее и я, поскольку не буду врачом, но вправе ставить диагноз, да еще почти через 200 лет.

Практикующие невропатологи вполне могут сопоставить признаки и оценить вероятность воображенного Пушкиным конца — с учетом того, что болезнь у него проявилась так рано, что она была практически не изучена; никаких лекарств, хотя бы замедляющих ее течение, не было, а вся стрессовая обстановка вокруг поэта только провоцировала ее ускорение.

Сама мысль о том, что его ждет полная недееспособность, обездвиганность и маразм, была для поэта невыносимой — он просто не мог это допустить. Страшнее же всего было то, что в любой момент он мог оказаться в ситуации, когда он уже не смог бы ее контролировать, не смог бы распорядиться своей дальнейшей судьбой.

«Еще не развернулась трагедия, — писал Лацис. — Еще не было анонимных писем. Но уже было ведомо: настали последние дни. Пришла пора измучиться. Надлежало тщательно замаскировать предстоящее самоубийство. На лексиконе нашего времени можно сказать, что в исполнители напросился Дантес. А заказчиком был сам поэт».

Разумеется, все это и в малой степени не снимает вины с Дантеса, который по глупости и абсолютной душевной пустоте позволил себе принять вызов, навечно опозорив свое имя. Но следует понимать: если бы Пушкин не нашел Дантеса, он нашел бы кого-нибудь другого.

Это исследование Лациса наконец-то объяснило факт, который для пушкинистики всегда был загадкой:

«Ни один из лучших пушкинистов не взялся объяснить, — писал Лацис, — почему Пушкин плакал

навзрыд на праздновании лицейской годовщины 19 октября 1836 года. Почему так и не смог дочитать приготовленные стихотворные листы? Вероятно, эти вопросы задавали себе многие, находили ответ некоторые, но вслух не проговорился никто... Ужели непонятно? Поэт ясно представлял: этот праздник для него последний, на следующем его не будет, его не будет нигде... Стало быть, им было принято твердое решение опередить конечную стадию той болезни, от которой, во избежание предстоящих унижительных страданий, существует лишь одноединственное лекарство — смерть».

Когда было принято окончательно это ужасающее, мучительное решение? Скорее всего, в 1835 году. Именно к этому времени относятся его стихотворения «Родрик» и «Странник», последнее, в свете сказанного выше, особенно откровенно:

При детях и жене сначала
я был тих
И мысли мрачные хотел таить
от них;
Но скорбь час от часу
меня стесняла боле;
И сердце, наконец,
раскрыл я поневоле.

«О горе, горе нам!
Вы, дети, ты жена! —
Сказал я, — ведайте:
моя душа полна
Тоской и ужасом;
мучительное бремя
Тягчит меня. Идет!
Уж близко, близко время...».

«Позней мой жребий злобный:
Я осужден на смерть
и позван в суд загробный —
И вот о чем крушусь:
к суду я не готов,
И смерть меня страшит».

Нам предстоит усваивать открытия Лациса и Баркова, заново прочитывать пушкинские произведения, менять точки зрения. Легко представить, какое отчаянное сопротивление академической пушкинистики это вызовет: ведь, будучи наследием, полученным нами от советского пушкиноведения, проблема свободы информации в этом случае явно выходит за рамки «чистого» литературоведения — она уже давно стала проблемой политической и экономической. Но я уверен: даже если политэкономическая составляющая будет продолжаться довести в отечественной пушкинистике, замалчивать эти открытия уже не удастся.

А пока представим последнее слово предсмертным словам Александра Лациса:

«Передавая двадцать первому веку все заботы о жизни поэта и о его творчестве, пожелаем нашим преемникам освободить себя и Пушкина от навязчивых идей».

Не надо преувеличивать роль Дантеса и его подстрекателей, салонных болтунов любого возраста и пола.

Не надо оскорблять поэта, приписывать ему отсутствие выдержки, проницательности, элементарного здравого смысла. Он не был заводной игрушкой, не был рабом общего мнения... Давно пора прочесть, услышать и понять буквальное сиюминутное значение стихотворной подписи «К моему портрету»:

...Хвалы и клевету приемли равнодушно

И не опоривай глупца.
Не в том суть, какая именно болезнь была у Пушкина, а в том, какая болезнь у пушкинизма.

Она сильно запущена. Вряд ли излечима. (Я бы, в расчете на новые, неожиданные «лекарства», все-таки добавил: в ближайшем будущем. — В.К.) Прогнозис пессимиста. Но лечиться надо».

Автор член СПР, председатель комиссии по литературному наследию А.Лациса, главный редактор журнала «Новые отечественные записки».